

А. И.  
ЭРТЕЛЬ

*Сочинения*



Александр Иванович Эртель

## Визгуновская экономия

«Богатая усадьба тянулась своими конюшнями, сараями и службами по крутому берегу реки; в конце усадьбы мрачно высился старый двухэтажный дом, с которого местами уж начинала обваливаться штукатурка; за домом раскинулся сад и, наконец, за садом, отделяясь от него маленькой ложбинкой, виднелось гумно, со всех сторон обнесенное плетнем. Огромная рига, длиннейшие амбары, бесчисленные скирды хлеба и ометы старой и новой соломы, — все доказывало, что

„Визгуновская экономия“ точно была экономия не

бедная...»

# **Александр Иванович Эртель**

## **Визгуновская экономика**

Бушуют ли зимние свирепые вьюги, гремят ли молодые весенние грозы, зноем ли пышет летнее солнце, — люблю я тебя, родная природа...

Люблю — необозримую степную гладь, занесенную сугробами, мутное, низкое небо и тоскливое завывание метели, когда она буйно мечется и плещет холодными волнами в плотные стенки кибитки... Жалобно и прерывисто звенит колокольчик, пристяжные тревожно всхрапывают и жмутся к оглоблям, а ямщик лениво помахивает кнутом и чуть слышно мурлычет:

*Не белы-то снежки  
Во поле забелелися...*

Тепло в уютной кибитке. Клонит ко сну. Тихой вереницею плывут кроткие думы... Ласково реют милые образы... А вьюга гудит и гудит.

Люблю — весенний лепет тенистой рощи, заботливый гам грачей, мечтательные перебивы иволги и серебристые трели соловья... поля и степи, одетые цветами, крик коростеля в лугах и звонкую песню жаворонка в вы-

соком, синем небе... Люблю — теплые, долгие зори, кротко и тихо мерцающие в ночном небе, громкие песни, стоном стоящие над ближним селом и заунывным отзвуком замирающие вдали... И мечты и грезы...

И жаркое лето люблю я. Люблю, когда под знойным июльским ветерком сонливо шевелится и лепечет ржаное поле, сладострастно млеющее в раскаленном воздухе, а золотистые волны бегут и струятся по нем горячими бликами... Когда назойливо стрекочат кузнечики, редко и лениво перекликаются перепела, слышится тяжкий лязг косы и в туманной дали дрожит марево...

Но когда наступит пора увядания, когда в похолоднувшем небе загорится осеннее солнце, поблекнут поля и в лесах замелькает желтый лист, когда пышно зардеет рябина и с дальнего севера потянутся журавли, — тогда печальное, но вместе с тем и величавое великолепие степной природы заставляет забывать меня и дикий разгул метели «во чистом поле», и торжественное ликование весны, и знойную пору лета...

Ясно и сухо. Сентябрьское солнце ярко про-

низывает прозрачный и жидкий воздух. Оно уже не жжет это солнце, как жгло еще в августе, не разливает утомительного зноя, а только блестит и сверкает холодным, ослепительным сверканием. Небо, бледно-голубое и высокое, — безоблачно. Над полями ползет и волнуется паутина — признак установившейся погоды. Иногда, в полдень, где-нибудь на полускате, эта паутина кажется кисеей, сотканной из матового серебра; вечером, при солнечном закате, она походит на легкий мягко-золотистый туман. Сухой и неподвижный воздух полон какою-то крепкой прохладой и тем особенным, едва уловимым запахом увядания, который свойствен умирающей природе. При малейшем дуновении ветерка запах этот усиливается; тогда вам кажется, что в прохладном воздухе, вместе с тихим и ласковым веянием ветра, проносятся какие-то изумительно тонкие наркотические струйки.

Боже, как хорош этот осенний воздух!.. Правда, вместе с ним ваша грудь не вдыхает опьяняющего благоухания весенних полей и лесов; она не упивается «сытным» запахом поспевающей ржи — подобным запаху спир-

та — и медовым ароматом цветущей гречихи, которыми насыщен воздух раннего лета, но зато ни летнего зноя, стесняющего дыхание, ни проникающей весенней сырости вы не ощутите в нем. Едва заметный ветерок погожей осени, — ветерок, проносящийся по умирающим садам и лесам, по сухим, щетинистым жнивам и поблекшим степям, — вносит в вашу грудь одну только здоровую и крепкую свежесть, от которой вам становится легко и свободно, как птице...

То же чувство свободы (хотя и с примесью какой-то тихо щемящей тоски) еще сильнее и неотразимее обнимет вас, когда с какого-нибудь одинокого кургана пред вашими глазами во всем своем унылом и строгом величии развернется степная даль.

Пустынные жнива, потопленные в золотистых лучах низкого солнца, бесконечными равнинами уходят во все стороны горизонта... Редко однообразный вид этих равнин перемежится яркой полосой веселых озимей, пестрым стадом, лениво разбредшимся по вольным кормам, — покривившимся стогом, сиротливо торчащим где-нибудь на краю окла-

дины, или одиноким бакчевным куренем, в котором хозяин, юркий мещанин с подстриженной рыжей бородкой, жесткой как проволока, и в длиннополом «демикотоновом» сюртуке, поджидает покупателей на редьку и свеклу...

Все тихо и беззвучно. Не прощечечет малиновка, не залется страстным треньканьем перепел, не рассыплется жаворонок серебряными трелями... Редко-редко дикий и пронзительный клехт жадного коршуна, неподвижно реющего в небе, нарушит эту тишину, или неведомо откуда донесутся до вас мерные и торжественные звуки, подобные звукам трубы. То в страшной, почти недоступной глазу высоте протянули журавли... Но звуки слабеют мало-помалу... замирают... и опять все тихо... Иногда по гладкой, точно отполированной дороге проскрипит, пробираясь к ближнему базару, воз с рожью или просом, печально протянется мужицкая песня, оборвется сердитым «ну, ты, кляча!», и снова тихо... Сверкает небо. Золотится жниво. Блестит дорога.

Над деревнями стоит стон от мерных и ча-

стых ударов цепа. В барских ригах гудят молотилки и гремят веялки. Стаи голубей шумно «гуртуют» и хлопотливо перелетают по гумнам. Визгливые воробьи то и дело переносятся с обобранных конопляников к полуразрушенному плетню, на котором торжественно возносятся к небу мужицкие посконные штаны с заплатами на коленях и праздничная бабья рубаха, — а с плетня опять на конопляники. Крикливые скворцы темными тучами реют над камышом, производя шум, подобный шуму ветра. Оживленный говор, смех и ругань стоят в воздухе. В садах пышно дозревает рябина и нежная липа тихо роняет свои мягкие листья, устилая ими когда-то тенистые аллеи. Солнце косыми лучами своими ярко и свободно пронизывает теперь эти аллеи и болезненно-желтыми пятнами переливается по облетевшей листве...

В такую погожую пору не сидится на хуторе, и я очень обрадовался, когда один из моих столичных знакомых попросил меня съездить в какой-нибудь из конских заводов, которыми так богата наша прибитюкская сторона, и купить для него хорошую «городскую»

Лошадь.

У меня домолачивали рожь. Мой неизменный возница, Михайло, в красной «французской» рубахе (как и подобает кучеру, привилегированному человеку в хозяйстве), с длинными вилами в руках, управлял на омете солому, которую бабы втаскивали туда на носилках. Это занятие ему, видимо, нравилось. Да и немудрено: его красная рубаха часто исчезала в ворохе соломы, и тогда оттуда вырывался пронзительный бабий визг, слышалась крупная ругань и звенел здоровый, оглушительный смех, прерываемый веселыми возгласами: «Садани его носилкой-то, черта!.. Ошарашь его по спине-то!», после чего бабы сходили с омета, весело пересмеиваясь и управляя сбитые на сторону платки, а Михайло, как ни в чем не бывало, усердно принимался за работу.

На мой зов он отозвался сердито и неохотно.

— Слезай-ка, слезай! — повторил я, — будет с бабами-то возиться!

Он медлительно слез с омета и, лениво переваливаясь с ноги на ногу, подошел ко мне,

на ходу отирая рукавом обильно струившийся с лица пот. В его непокрытой, лохматой голове настряла солома, локоть рубашки был прорван, около уха виднелась свежая царапина; но, несмотря на такие несомненные признаки утомительной работы, лицо его добродушно ухмылялось.

— Чего вам? — спросил он.

— Подмажь-ка тележку да запрягай: в Визгуновку поедем.

Визгуновка — имение коннозаводчика Четоткина.

Добродушное выражение сразу сбежало с лица Михайлы.

— В Визгуновку? — чрезвычайно серьезно протянул он, делая недоумевающую физиономию и рассеянно опуская руку, которой только что размазал грязь на щеке.

— В Визгуновку.

— Это за Битюк, альник?

— Туда.

Михайло запустил руку в затылок и, после непродолжительного раздумья, с унылостью произнес:

— Ведь, почитай, сорок верст до Визгунов-

ки-то!

— Пожалуй что и сорок, — хладнокровно ответил я. Он сокрушительно вздохнул и, взглянув на меня исподлобья, медлительно отошел к вороху мякины, около которого долго и пристально искал чего-то, сурово сдвинувши брови; наконец нашел какой-то темный предмет, сердито тряхнул им, отчего в воздухе появилось целое облако пыли, озабоченно повертел его в руках и, вероятно уверившись, что это точно шапка, глубоко нагнул ее на голову, не забывая в то же время обругать баб, носивших мякину, за то, что будто бы они спрятали шапку. После этого он направился к сараю, где стояла тележка. Но пробыл он там недолго. Не успел я перекинуть несколько слов с Семеном (моим старостой и ключником, и всем, что хотите), как Михайло, на этот раз уже причесанный (хотя все еще не умытый) и одетый в свой парадный дубленый полушубок, опять стоял около меня.

— Ехать некуда, Миколай Василич, — степенно и решительно доложил он мне.

— Как некуда, что ты городишь? — удивил-

ся я.

— Некуда-с... Дрожина одна не надежна.

Я было хотел рассердиться, но вовремя догадался в чем дело.

— Ничего, доедем.

— По мне как угодно... Воля ваша... Ну только дрожина вряд ли выдержит... Тоже дорога не близкая. Да и колесо заднее... — Михайло замялся.

— Ну, что же колесо? — нетерпеливо спросил я.

— Тоже, как будто... Спицы словно маленьчко хрустят... Потронешь ее, колесо-то, ну, они и хрустят... — Он сделал рукою так, как будто потрогал колесо.

Я только было разинул рот, чтоб ответить, как Михайло, вероятно боясь моего возражения, поспешно добавил:

— И опять — Орлик!.. Как на ём поедешь?.. Никак на ём ехать нельзя того и гляди раскуется... Дорога-то — камень!

— Приведи его сюда.

Михайло удивленно вскинул на меня глазами, и, сообразив, что медлить уже не приходится, частой, деловой походкой затрусил к

конюшне.

Явился Орлик. Смотрел, смотрел я ему на подковы — ну точно сейчас из кузни...

— Где же ты нашел тут слабую подкову?

— А вот погодите... я — враз! — засуетился и зачастил Михайло: — эй, Наум! а Наум! — закричал он, — поддержи-кось поди жеребца!

Наум, длинный и неуклюжий парень, поспешно бросил вилы, которыми подавал снопы, робко приблизился к Орлику и крепко вцепился обеими руками под самые уздцы, отчего смирный Орлик сердито взмахнул головой и попятился задом. Михайло торопливо скинул полушубок и, бросив его на землю, с озабоченным лицом подошел к Орлику, который все пятился и храпел. Наум, красный как рак, все крепче и крепче тянул его за повод.

— Эх ты, ворона, — презрительно кричал Михайло сконфуженному Науму, прямая ворона!.. ишь, ручища-то растопырил... Чего заробел-то!.. У, сиволап, черт... Отпусти поводья-то... Что, у тебя руки-то отсохли, что ли!.. Эка, не справится...

Наконец, после долгой возни и ожесточен-

ной ругани, Орлик успокоился. Михайло ухарски сдвинул набекрень шапку, и, отчаянно махнув рукою, как бы желая сказать: «Э, была не была! Двух смертей не бывать, одной не миновать», приступил к ноге Орлика. Орлик, разумеется, преспокойно дал поднять ее. Вообще он был чрезвычайно смирен, и если вызвал такие воинственные подходы со стороны Михайлы, то только благодаря бабам, глазевшим на всю эту сцену и простодушно удивлявшимся Михайлиной храбрости и отваге.

— Ну, где же тут слабая подкова? — спросил я.

Михайло, не преминув еще несколько раз обругать несчастного Наума, положил копыто лошади к себе на колено, долго и глубоко-мысленно ковырял это копыто и, наконец, озабоченно произнес, указывая мне на подкову:

— Извольте поглядеть — вот, ишь, как стонилась!.. Чуть что перешибется, и сейчас в раковину... Вот извольте поглядеть!.. Тоже лошадь окалечить недолго... Как еще недолго-то! — враз... А опосля-то и жалко ее... Те-

перь ежели ехать куда, — как на ей поедешь?.. Одно слово искалечить! — и он, тяжело отдуваясь, опустил ногу.

Но — увы! — все его хитроумные подходы пропали даром. В тот же день мы выехали в Визгуновку, и ни дрожина, ни колесо, ни подкова не изменили нам во всю дорогу. Михайло злился. Всю дорогу он что-то ворчал и шептал, всю дорогу мрачно посматривал по сторонам и сердито дергал вожжой шаловливую пристяжную. Со мной он не сказал ни одного слова и, уж подъезжая к визгуновской усадьбе, красиво белевшей на гористом берегу узкой и чистой речки, угрюмо проронил:

— На барский двор держать-то?

Впрочем, это тревожное состояние духа не помешало ему с надлежащим шиком подкатить к конторе, безобразный фронтон которой указал нам какой-то кривой и лысенький человек, сидевший на мосту с удочкой.

У крыльца конторы нас встретил чрезвычайно расторопный старичок, низенький и сторбленный, с густой серой щетиной на бороде и отвислых щеках, с клочками седых волос, аккуратно зачесанными на виски, и с

огромною связкою ключей в руках. Он посмотрел на меня из-под руки, проворно снял высокий плисовый картуз, похожий больше на подушку, чем на картуз, и с достоинством поклонился.

— Дома управляющий? — спросил я, не вылезая из тележки.

— Управителя у нас нету-с, — старчески шепелявя, ответил старичок, подходя к тележке, — вам для какой надобности?.. Может, приказчик требуется? приказчик есть... А чтоб управителя — нет, нету-с.

— Ну, приказчик, — это все равно: мне нужно лошадь купить.

— Тэ-эк-с... — старичок сожалительно чмокнул губами. — Есть у нас приказчик, есть... Ерофей Васильев... Только теперь он в отъезде-с...

— Ах, какая досада! Как же быть-то?

— А вы вот что-с! — заторопился старичок, суетливо запахивая свой длинный сюртук, по всей вероятности перешедший на его утлое тело с дебелого барского плеча, — вы прикажите лошадок-то на красный двор двинуть-с, там и кормочку им выдадут, а сами-то в кон-

тору пожалуйста-с...

— Да когда приедет-то он?

— Это вы насчет Ерофея Васильева изволили спрашивать? — осведомился старичок, почтительно покашливая и опять впадая в сожалительный тон, — а не могу знать... не могу-с... Да мы вот что-с, — снова оживился он, кучерку-то прикажите убрать лошадок-то, а сами-то извольте на гумно прогуляться... Я, пожалуй, и провожу вас до гумна-то, тут неподалеку оно, за садом... Там мы и спросим-с... Там сын приказчиков-то, Пармен... ну, мы у него и спросим...

Я согласился. Старичок торопливо забежал за угол конторы и, неистово махая картузом, закричал:

— Эй, Орех... Орех!.. Беги проворней... беги сюда, Орех!.. Э, какой ты, погляжу я на тебя...

На этот зов явился человек, действительно имеющий некоторое сходство с орехом.

— Проводи-ка ты, Орех, ихнего кучера на красный двор, — внушительно и строго приказал ему старичок, — пусть он лошадей-то под лопас[1] постановит, а декипажец хоть в жеребятник задвиньте... Он теперь пустой,

жеребятник-то, вы в него и задвиньте. Да Евтею Синегачему скажи, чтоб овса дал... Да чтоб он, Синегачий-то, пусть не мудрил бы, скажи... Скажи, Пантей, мол, Антипыч, приказал... Слышишь?.. Ну, пожалуйста, сударь! — обратился он ко мне, и только что я успел вылезть из тележки, а молчаливый Орех — усесться на мое место, как неугомонный старик уже опять кричал:

— Анфиса, Анфиса... Пошли оттуда Симку-то!.. Посылай ее, шельму, проворнее... В конторе никого нету... Скажи ей, бестии, Пантей, мол, Антипыч приказал...

— Пожалуйста, сударь, сюда!.. осторожнее, ишь ступеньки-то у нас... — И он предупредительно поддержал меня под локоть, когда я поднимался на высокое крыльцо конторы, — пожалуйста направо-с! — И, проводив меня до двери, он опять выскочил на крыльцо и снова закричал сердитым, хриповатым баском:

— Эй, Кузька!.. не ты, Дудочкин, а Жучок Кузька... Кузька Жучок! куда пошел-то, оглох, что ли... Скажи Артему-караульщику, чтоб он за водой ходил... Слышишь?.. На самовар мол... Скажи ему, пускай к ключу ходит... а?

слышишь, что ль? Пантей Антипыч, мол, приказал... Да пусть проворнее бежит-то!.. Да Симку там пошли из людской... Гони ее оттуда в шею, бестию!.. А?.. Гони ее!.. Эка непутевая баба!..

— Что вы так беспокоитесь? — спросил я Пантея Антипыча, когда он, отирая с лысины пот и тяжело отдуваясь, вошел в контору.

— Помилуйте-с, какое беспокойство!.. Что же это такое будет, ежели покупателя не пригласить-с... Да вот с народом-то беда-с! — И он опять хлопотливо побежал на крыльцо, с которого долго еще доносилось до меня его старческое брюзжание, имевшее своим предметом все ту же «бестию Симку».

Наконец явилась и Симка, толстая и неповоротливая баба, с нахмуренными бровями и сердитым взором. Принес хроменький Артем-караульщик и воду из ключа, а через полчаса самовар уже кипел на столе и Пантей Антипыч наливал мне чай, цветом подобный черному пиву, а вкусом... Ну, бог его там знает, чему он был подобен вкусом. Старичок, помимо своей уважительности, оказался до крайности словоохотливым.

— Барин-то ваш не живет в имении? — спросил я.

— Никак нет-с. Наезжать изволит, а чтоб жить — нет, не живет-с... Ну, да сами изволите знать-с, что им за неволя-с!..

— Где же он живет?

— А вот изволите видеть — Ниция какая-то есть, ну, так в этой самой Ниции они и изволят иметь пребывание... Уж не могу вам доложить, город ли эта Ниция, или иное что...

— Неужели лучше ему там? — заметил я, — имение у него богатое, кажется...

— О господи ты, боже мой! — воскликнул старик, — богатейшая экономия-с... Ну, да-сами изволите посудить: заграница какая-нибудь там или наша глушь... Ведь тут медвежий угол, можно сказать-с!.. Ни соседства благородного, ни чтоб развлечений каких... Как же можно-с!.. — Пантей Антипыч замолчал, кропотливо отгрызая сахар.

— Как положение вышло-с, так они и изволили отбыть, — продолжал он, допив блюдечко и аппетитно почмокивая губами, — прежде, конечно, не то-с!.. прежде и в деревне, можно сказать, та же заграница была-с...

Ну, а теперь... Что делать-с!.. Теперь, ежели по-настоящему судить-с, так им и занятияев здесь нету...

— Как нет занятий?

— Да так-с... Хозяйство ежели — они в этом не могут... Службу проходить, вот как иные господа по земству, — тоже по их чину не приходится: они ведь тайный советник, все равно теперь как полный генерал-с! — Пантей Антипыч горделиво вздернул голову и с чувством собственного достоинства посмотрел на меня — знай-де наших!

— Вы крепостный были? — спросил я у него.

— Так точно-с. Как же-с! в старину дворецким состоял-с, — горько усмехнулся старик, — а теперь вот на старости лет пришлось ключи таскать, у кучера в подначале быть-с... Ведь Ерофей-то Васильев кучером ездил, конфиденциальным. полушепотом сообщил он мне, — гужеед, можно сказать, а вот подите-с!

Пантей Антипыч сокрушительно вздохнул, нервно поправил свои виски и затем язвительно произнес:

— Вы вот извольте, сударь, поглядеть на

него... Как был гужеедом-с, так и остался... Обнаковенно — наше дело постороннее-с, но ежели по-божески рассудить — совсем пустой человек-с!

— Чем же он пустой? — поинтересовался я.

— Да как вам доложить, — ну, и винцом зашибает, и... Да не так-с, не так-с!.. служить у господ надобно не так-с, — вдруг загорячился Пантей Антипыч, — он здесь приказчиком числится, а в Тамлыке у него трактир-с! Да еще дом купил на прошлой неделе... Разве это слуга?.. Сами посудите-с!.. Нешто так можно господам служить?.. Помилуйте-с!.. Нет, ежели служить-с, так служи: издыхай тут при месте... А то трактиры-с!..

Пантей Антипыч с негодованием выплеснул из стакана остаток чая и, после непродолжительного молчания, уже печально и тихо добавил:

— Нет-с, нету по нонешному времени настоящего усердия к господам... Всякий вот норовит все себе да себе, а господа хошь по миру пойди, ему дела мало!.. Хошь по миру пойди!

Он грустно развел руками и опять поправил височки.

— Что же барин-то смотрит? — спросил я, снова направляя разговор на приказчика.

— Помилуйте-с, где же им!.. доносить ежели — ну, не всякий согласится... А самим и невозможно-с, чтоб досмотреть... Ну, и у барыни он в милости, Ерофей-то Васильев, это правду надо сказать, что в милости... В старину-то он с ними все кучером ездывал-с, с генеральшею-то, вот они к нему и приверженны-с...

Опорожнив самоварчик, мы отправились на гумно.

Богатая усадьба тянулась своими конюшнями, сараями и службами по крутому берегу реки; в конце усадьбы мрачно высился старый двухэтажный дом, с которого местами уж начинала обваливаться штукатурка; за домом раскинулся сад и, наконец, за садом, отделяясь от него маленькой ложбинкой, виднелось гумно, со всех сторон обнесенное плетнем. Огромная рига, длиннейшие амбары, бесчисленные скирды хлеба и ометы старой и новой соломы, — все доказывало, что «Визгуновская экономия» точно была экономия не бедная. За гумном опять протекала речка, а за

речкою, на низком берегу, бледно-зеленою полосою тянулись крестьянские огороды и бурело своими растрепанными крышами село. Это и была Визгуновка. За избами села, стрункою протянувшимися вдоль реки, низкая почва опять повышалась, превращаясь в отлогие и круглые холмы. На одном из этих невысоких холмов приветливо белелась каменная пятиглавая церковь. Из усадьбы села не было видно, но от гумна виднелось далеко за село: сверкающими изгибами утекала вдаль речка; веселым изумрудом отливали окаймлявшие ее озими; за ними темнел лес, а за лесом на горке, точно стадо лебедей, красиво гнездилась чья-то барская усадьба.

Когда мы спускались в ложбинку, отделявшую гумно от сада, до нас донесся однообразно-протяжный и тихий говор. Мы подошли ближе. Задом к нам, за реденьким, оголевшим ивняком, сидел на корточках мужик и, медлительно размахивая рукою, в которой болталась трубка, что-то рассказывал. Около него, покуривая трубочки, беспечно лежали, растянувшись на животах, слушатели. Их было человек пять. Они слушали с таким внима-

нием, что и не заметили нас. Пантей Антипыч, сторбившись, как кошка, готовая броситься на добычу, приложил палец одной руки к губам, а другою указывал мне на мужиков, точно приглашая полюбоваться вопиющим безобразием. «Каков народец!» — как бы шептали его губы, сложившиеся в ядовитую улыбку.

— И вот, братец ты мой, — гнусливо тянул рассказчик, — барин в те поры и говорит Алешке: ну скрадь же ты, вор-Алешка, у меня жену...

— Жену!! — удивленно подхватили слушатели, невольно выпуская из зубов чубуки.

— Дда-а... А ты как думал!.. скрадь ты, говорит, у меня жену, — это барыню тоись, — обыкновенным разговорным тоном пояснил рассказчик и тотчас же опять перешел в гнусливый и протяжный «сказочный» тон, — а ежели, говорит, в случае, не скрадешь ты у меня жены, то не иначе как быть тебе в солдатах...

— А-ах, шут-те!.. — вырвалось у восхищенных слушателей.

— Как быть тебе в солдатах! — повторил

рассказчик, очевидно очень довольный эффективностью своего повествования. — Что тут делать!.. Вот, братец ты мой, Алешка-вор, набрамшись, значит, смелого духу и ляпни барину: так и быть, скраду, говорит, сударь... послужу вашей милости... как мы есть ваши рабы, а вы — наши господа... Ну, барин тут опять зачал было сумлеваться, а Алешка-вор — одно слово — не сумлевайтесь, говорит, нам это нипочем!..

— Нипочем!.. Ах, раздуй-те горой! — восторгались слушатели, поплеывая сквозь зубы.

— Нам это нипочем... — самодовольно повторил рассказчик. — Ну, значит, и пошел тут, братец ты мой, вор-Алешка...

Но куда пошел вор-Алешка, осталось неизвестным... Мера Пантей Антипычева долготерпения переполнилась. Он ожесточенно хлопнул себя руками по бедрам и яростно накинулся на мужиков.

— Ах вы, дармоеды!.. Ах вы, живорезы окаянные!.. Мучители! — Пантей Антипыч хрипел и захлебывался. — Вам деньги-то за балы платят, а?.. Вы думаете, они щепки, день-

ги-то?.. Щепки?.. а?.. Нет, они не щепки!.. Нет, не щепки!.. Ах, лодари вы этакие!.. Ах, идола египетские!.. Господи ты боже мой!.. ведь это беда... ведь это разор!.. И чего там Пармешка смотрит... Чего он смотрит, собачий сын!.. А Минай-то, старый пес, прости господи... староста тоже... Ах ты создатель! вот грабители-то!.. Да они последнюю рубашку готовы с господ-то снять...

Мужики лениво поднимались, медлительно выколачивали о каблуки трубки, не спеша засовывали их за голенищи и затем уж, тяжело переступая, направлялись к гумну.

— Фу ты, братцы мои, значит и покурить уж нельзя? — хором оправдывались они, жалостливо и укоризненно растягивая слова, — кабыть мы от работы отлынивали али что... Мы, кажись, тоже... Затянулись вот, и пойдем... А без трубки — сам знаешь...

Мой спутник плюнул и махнул рукой, дескать: «э, пропадай все!» Его прошиб пот.

— Вот подите с этим народом-с! — горячо пожаловался он мне, — они рады пустить по миру господ-то-с... Им что!.. он протянул как-нибудь день, а четвертак ему подавай... Ах,

дела, дела!

Он сокрушительно вздохнул и мрачно насупил брови.

Мы вошли на гумно. Там и сям — у скирдов, около ометов соломы, в амбарах и по всем сторонам риги — подобно пчелам копошился народ. Белые рубахи и шушпаны, яркочетные платки и юбки — все это с веселой отчетливостью выделялось на солнце. Жизнь кипела. Говор и смех стояли над гумном. Шум ни на минуту не утихал. Разнообразные звуки причудливо смешивались и переплетались между собою... Из риги, подобно сердитому ворчанию раздраженного шмеля, доносился до нас рокот молотилки. Веялка стучала отчетливо и звонко. Белые и синие голуби хлопотливо реяли в синем, чистом как хрусталь воздухе, сверкая своими блестящими крыльями и шумно опускаясь везде, где замечали рассыпанные зерна. Порожние телеги гулко гремели из риги к скирдам и от амбаров к риге. Высоко нагруженные снопами подводы тяжело скрипели и, тихо раскачиваясь из стороны в сторону, медленно тянулись к риге, в ворота которой еле-еле пролезали.

Около огромного вороха пшеницы, золотистым конусом нагроможденной на широкой тоше[2], глухо стучала железная мера, которую широкоплечий, сутуловатый парень с расстегнутым воротом и вскосмаченной головою легко и проворно вскидывал на телегу, как будто это было перышко, а не тяжесть в добрые два пуда... На краю скирда, от которого только что отъехал воз с снопами, сидел, свесивши ноги в лаптишках, рыженький и, вероятно, «хозяйственный» мужичок, старательно исправляя погнувшийся рожок вилы; молоток, ударяясь по железу, издавал глухой, неприятно дребезжавший звук.

Из ворот риги длинным и высоким столбом вырывалась пыль, мелкими искорками блестящая на солнце. За этой золотистой пылью смутно виднелись и беспорядочно двигались люди, проворно отрясавшие граблями и вилами вороха соломы, бесконечным потоком выползавшей из ревущего зева молотилки. Когда мы вошли в ригу, я первое время просто был оглушен... Угрюмый рев молотилки, щелканье кнутом, крики погонщиков и ржание лошадей беспорядочно перемешива-

лись с звонким говором баб, скрипением въезжавших в ригу подвод с снопами, надоедливый грохотом веялки, лязгом грабель по деревянному полу, блестящему как паркет, и однообразным шелестом соломы. Царствовала прохладная полутьма. Только в ворота да кое-где в расщелины ветхой крыши проникало солнце, рассекая полутьму косыми желтоватыми лучами, в которых крутилась и вилась мельчайшая пыль.

Нас встретил староста Минай, высокий старик с плутоватым взглядом, маленькой ключковатой бородкой и медлительными движениями. В руках у него белелась бирка с бесчисленными крестиками, на голове красовалась высокая шляпа с узенькими, сильно отрепанными полями. Мы поклонились. Пантей Антипыч тотчас же горячо и внушительно начал ему рассказывать про мужиков, которым мы помешали дослушать сказку. Минай, снисходительно улыбаясь и кротко наклонив на бок голову, терпеливо выслушивал его, нарезая на бирку новый крестик. Но когда Пантей Антипыч, кончив рассказ, начал было читать ему нотацию за небрежение, он

лениво выпрямился и с чрезвычайной сухостью произнес: «За всеми не углядишь... Не свят-дух!» На этот холодный аргумент горячий старикашка не нашелся что сказать, а только быстро пожевал губами и укоризненно воскликнул: «Эх вы — слуги!»

— Где же Пармен-то? Вот барину нужно, — сердито сказал он Минаю.

— А кто ж его знает, где Пармен? Гляди, с девками жирует...[3] Что ему делать-то?.. Делов-то ему только, — вяло ответил Минай, отходя к бабам, стрясавшим солому.

Пантей Антипыч опять вскипятился.

— Ах он, прохвост этакий!.. да я его... да я ему... Разве его жировать сюда приставили, а?.. Ах он, щенок!.. Ему барское добро хоть пропадом пропади!.. Вот извольте полюбоваться, какие у нас, порядки-с! — ядовито обратился он ко мне и скорыми шагами направился в дальний угол риги, где в полумраке смутно краснелись бабьи платки и юбки, раздавался хохот и шум возни.

Я направился за Пантеем Антипычем. Но не успел он еще дойти до темного угла, как там раздались тревожные восклицания: «Де-

душка Пантей! Дедушка Пантей!» и около стены быстро проскользнул в привод[4] высокий малый, в жилете и в выпущенной из-под него ситцевой рубаше. Пантей Антипыч его не заметил. Девки, точно спугнутые птицы, со смехом разбегались из угла. «Уляшка, Уляшка, — кричали они, — дедушка Пантей!» А дедушка Пантей, сдвинув на затылок свой подушкообразный картуз и широко распростирая руки, немилосердно гремел ключами, сердито ругался и шипел, как подмоченный порох.

— Где он, мошенник!.. Подайте мне его сюда... — кричал он, — подайте мне его, висельника!.. — и вдруг напускался на девок: — Ах вы бестии этакие!.. Ах вы шельмы! Аль вы на улицу, шельмы, пришли?.. а?.. на улицу?.. Игры затеяли? а?.. игры?.. Эх, нет на вас палки-то, погляжу я... Минай! Минай! — пронзительно закричал он, оборачиваясь в сторону Миная и гневно разводя руками, — это твое дело, Минай... Чего же ты смотришь, Минай!.. Ай барские деньги щепки? а?.. Ай черепки они?.. а?.. черепки?.. Нет, они не черепки!..

Я в это время стоял около Миная.

— Эка старичишка какой балухманный[5]

, — тихо сказал он, — вот балухманный-то!.. И что ему здесь нужно, старому... Сидел бы, сидел себе в конторе!

— Да ведь он ключник, как же ему сидеть-то? — спросил я.

Минай насмешливо скривил губы.

— Ключник! — произнес он. — Звание одно, что ключник... В амбарах-то у него помощник орудует, — Лукич... А он, сам-то, разве когда овса на конюшни отпустит... А то вот все больше бегают да в чужие дела встревает... вроде как собака какая... Ишь беду нашел — девки жируют!.. Все равно им сидеть-то, покуда носилки сготовят... Кабы за ними дело стояло, ну так... А гляди, как бы они старичка-то не сшибли! — засмеялся Минай, указывая мне на Пантея Антипыча, который все еще распекал хихикающих девок и тщательно осматривал темный уголок.

Вдруг он пронзительно и дико завизжал, совершенно неожиданно переходя от хриповатого баса к самому невозможному дисканту: «Ага! Попался, мошенник!.. Попался... По-го-ди-и» — и из-под рук у него выскочила прямо на солнце, к воротам, высокая статная дев-

ка, которую подруги, бывшие уже в безопасности, встретили дружным смехом и восклицаниями: «Что, Уляшка, ай попалась!» Минай помахал головою и, лукаво посмеиваясь, отошел в дальний конец риги, к веялке. Обескураженный Пантей Антипыч, убедившись, наконец, что ему под руку подвернулся не мошенник, а разве мошенница, с негодованием плюнул, и глубоко нахлобучив картуз, мелкими и частыми шажками выбежал из риги. В пылу гнева он забыл и про мою особу.

А я невольно загляделся на Ульяну. Она стояла у ворот и, отряхивая запыленный платок, тихо смеялась, в то же время сердито сдвигая свои узкие черные брови. Глаза из-под этих бровей глядели неприветливо. Их темный блеск строго и быстро мелькнул по мне, когда я стал было пристально смотреть на нее. Красивое лицо дышало надменностью. Щеки горели смуглым и крепким румянцем. Длинная темная коса грациозно свешивалась с маленькой горделивой головки. Встряхнув платок, она порывисто бросила его на руки какой-то бабе, небрежно оправила волосы, беспорядочными прядями свесивши-

еся на лоб и, быстро схватив носилку, с силою подпихнула ее под громадный ворох соломы. В это время подруга ее, маленькая и неловкая, с трудом воткнула и другую носилку. Ульяна ловко подняла на них добрую копну соломы, свободно встряхнула эту копну и стройно выпрямилась, немного откинув назад свою характерную головку. Я не мог достаточно любоваться ее смелыми и красивыми движениями.

— Ну, Химка, скорей... Чего там пропала! — нетерпеливо торопила она подругу, которая что-то копалась назади и все еще не поднимала носилок.

В это время к Ульяне подошел Минай.

— Что, бестии, попались! — с усмешкою произнес он.

Ульяна, не выпуская из рук носилок, громко захохотала. Зубы ее так и блеснули жемчугом... Строгие глаза совсем скрылись в тонких, лучеобразных морщинках. Все лицо внезапно осветилось какою-то плутовскою, подмигивающею веселостью. Стройный стан ее заколебался под туго стянутой завеской; голова совсем закинулась назад... Минай тоже сме-

ялся, добродушно оскаливая редкие, желтоватые зубы и самодовольно пощипывая свою сивенькую бородку. Наконец Химка управилась, и носилки поднялись. В воротах они встретились с тем парнем, который так ловко ускользнул от Пантея Антипыча. Ульяна опять раскатилась своим серебристым смехом. «Что, ай испужался?» — насмешливо крикнула она.

— Молчи, черт!.. Чего орешь-то... — досадливо остановил парень Ульяну, значительно мигнув бровями, и, оправивши свою растрепанную прическу, подошел ко мне. Я догадался, что это, должно быть, и есть приказчиков сын Пармен.

— Что вам будет угодно? — скорее несколько грубовато, чем почтительно спросил он у меня, тряхнув своими рыжеватыми кудрями, в которых кое-где желтелась солома.

Это был крепкий, в своем роде красивый малый. Румяный, белозубый, с жидкими рыжеватыми усиками, ярко-пунцовым ртом и наглыми серыми глазами, он мог играть роль деревенского льва.

Я спросил его, скоро ли придет отец.

— Да надо быть завтра к вечеру. А вам для чего он требуется?

Я сказал. Пармен как-то сразу стал почтительнее; видно, и ему известно было визгуновское правило «привечать» покупателя. Он предложил мне дождаться отца. По словам его, продажные лошади в заводе были.

Подумал-подумал я, да и решился остаться. Помимо предстоявшей возможности купить лошадь, меня еще интересовали и нравы «Визгуновской экономии».

Воротилась Ульяна с Химкой. При взгляде на них Пармен слегка было усмехнулся, но тотчас же опять поспешил напустить на себя подобающую степенность, вероятно вызванную моим присутствием. Эта степенность, по видимому, ужасно смешила девок. Они украдкой все взглядывали на Пармена и визгливо хохотали, закрываясь рукавом. И чем больше хмурился Пармен, чем строже и серьезнее поводил он глазами, тем сильнее и неудержимей раздавался их хохот. Наконец он не на шутку испугался быть скомпрометированным в моем присутствии...

— Не хотите ли пройтись? — предложил он мне.

Я, разумеется, согласился.

Мы оставили ригу и, обогнувши гумно, вышли на выгон, тянувшийся от гумна к реке. Множество маленьких, безобразно сложенных кладушек загромождали этот выгон. Пармен пояснил мне, что здесь молотится гречиха. Мерный стук цепов гулко отдавался в чутком воздухе, вперемежку с отрывочным говором и грубым шелестом черной соломы. Около каждой кладушки был ток. Гречиху молотили — как объяснил мне Пармен — семьями, и не за деньги, а за мякину и солому. Кое-где, несмотря на тишину, стоявшую в воздухе, веяли, высоко подбрасывая лопатой «невейку». Тяжелое зерно частым и дробным дождем упало с высоты, а темная и легкая мякина тихо относилась в сторону, где ее прямо и насыпали в телеги.

У одной из таких телег, наполненных мякиною, мы заметили небольшую толпу, странно размахивавшую руками и, по-видимому, горячо о чем-то рассуждавшую. Посреди толпы неподвижно возвышалась какая-то

изумительно длинная фигура, своей необычайной прямизною как бы подтверждавшая старую историю о проглоченном аршине. Кожаная жокейская фуражка вроде каски и прямоугольный нос, удивительно пространных размеров, придавали этой фигуре вид какой-то диковинной, важно нахохлившейся птицы.

— А ведь это Алкидыч бушует! — заметил Пармен, пристально всматриваясь в толпу.

— Кто это — Алкидыч? — спросил я.

— А вон длинный-то!.. Это конторщик наш.

— Что же он тут делает?

— А вот пойдете к нему. Он тут над мольбой надсматривает.

Мы подошли. В середине толпы, устало понурившись, стоял перед Алкидычем крошечный, приземистый мужичок, с выражением страшнейшей скуки на маленьком, худощавом лице. Он лениво, как сквозь сон, тянул одну и ту же фразу: «Как-нибудь невзначай, Алкидыч, ей-богу, невзначай...» И каждый раз Алкидыч важно и внушительно прерывал скучающего мужичка, восклицая: «Ефрем Алкидыч!», и затем внятно и с расстановкою, ка-

ким-то убийственно-деревяннным тоном — тем тоном, которым так злоупотребляют провинциальные актеры в роли благородных отцов, — читал ему какую-то нотацию, с величественной строгостью размахивая правой рукой. В левой он держал табакерку и платок.

Около этих двух, по-видимому главных действующих лиц, тесно группировались второстепенности. У самых ног Алкидыча ковырял пальцем в носу пузатый мальчуган, лет девяти, с изумленно раскрытым ртом и высоко подсученными штанишками. Около мальчугана торчала чумазая девчонка с плаксивой миной на востреньком, усеянном веснушками личике и с мешковато спущенным рукавом рубашки... Из-за спины Алкидыча насмешливо выглядывал белоголовый парень с подслеповатыми, беспрестанно моргающими глазками, кривым носом и непрерывно двигающимися лопатками. Рядом с сучающим мужичком стоял старичок с пронзительным взглядом, попеременно устремляемым то на Алкидыча, то на мужичка, — с желтыми усами, засыпанными табаком, и с цепом в руках. За старичком толпились бабы с обиженными

физиономиями. Все это бестолково галдело и размахивало руками, хотя и не могло заглушить дубового Алкидычева баса. «Как же, рассказывай — невзначай!» — ядовито пицал косоносый парень, очевидно с сочувствием относившийся к Алкидычу и его суровой нотации. «Стало быть, что невзначай! — озлобленно кричали бабы, — аль мы воры какие... На что она нам нужна, гречиха твоя...» — «Известно, на что она вам, гречиха-то», — с серьезнейшим тоном подтверждал старичок с пронзительным взглядом. «А на кашу, да на блины, вот на что!» — возражал косоносый парень. «Ну, уж и на блины...» — робко заступался старичок, а бабы сулили парню всевозможные пакости. Неподалеку от толпы молодой малый, почему-то напомнимший мне Ульяну, в синей китайчатой рубаше с озабоченным и недовольным видом подметал ток. В полуразрытом возе с мякиной виднелась чистая гречиха.

— В чем дело? — вмешался Пармен.

— Ей-богу, невзначай, Алкидыч! — вяло произнес мужичок, по-видимому с трудом удерживаясь от зевоты.

— Ефрем Алкидыч! — внушительно поправил конторщик.

Мужичок внезапно оживился и хлопнул руками по бедрам.

— Поди вот! Точит тебя, да и шабаш!.. — воскликнул он, обращаясь к нам.

Обернулся к нам и Алкидыч. Слегка дотроновшись до козырька своей каски, он торжественно взмахнул рукою и с медлительной важностью произнес:

— Теперь позвольте вас спросить — есть ли у этого человека совесть?

— Да ты расскажи, Алкидыч... — начал было Пармен.

— Ефрем Алкидыч! — хладнокровно поправил конторщик, открывая табакерку.

— Ты расскажи, Ефрем Алкидыч, в чем дело-то? Алкидыч медленно и с достоинством понюхал табаку.

— Есть ли у этого человека совесть? — строго повторил он, пристально устремляя в пространство неподвижный взор свой, и, немного помолчав, грустно и вдумчиво произнес: — Я так полагаю — нет у него совести...

— Заточил в отделку! — с комичным отча-

янием воскликнул теперь уже окончательно развеселившийся мужичок.

— Ежели бы была у него совесть, — настаивательно продолжал Алкидыч, возвышая голос и придавая ему патетическое выражение, — то ужели возмог бы он, так сказать, посягнуть на своих благодетелев?.. Ужели же...

— Да замолчи ты, ради Христа-а!.. Говорят тебе, невзначай! — умолял несчастный мужичок, которого, вместо смертельной скуки, стал теперь понимать пот.

— Ужели же ты, — Алкидыч поднял палец к небу, — ужели ты утратил, так сказать, благодарность и возомнил поработать аггелам!.. Ужели...

— Да брось ты его, батюшка Алкидыч! — заступилась какая-то баба, горько подпиравшая ладонью щеку, как будто вот-вот собиралась заплакать.

Но тут случилось нечто совершенно неожиданное.

— Ефрем Алкидыч, каналья ты этакая! — громоносно воскликнул доселе невозмутимый резонер и, ухватив близлежавшую метлу, устремился за бабой. Эффект этой неужи-

данной выходки был поразительный. Весь выгон задрожал от хохота. Народ, бросивши работу, всецело занялся Алкидычем и несчастной бабой. Оглушительный гомон стоял в воздухе. «Держи, держи ее! — кричали со всех сторон. — Лупи ее по пяткам-то!.. Лупи ее, шельму... Швырком-то в нее, Алкидыч!.. Пуцай в нее швырком-то!.. А-ах, братец ты мой... По пяткам-то, чудачина ты этакий, по-трафляй!.. Трафь по пяткам... Го! го! го!.. вот так урезал! вот так звезданул!.. ай да Алкидыч!..» Мужики и бабы помиралы со смеху. Мужичок, над которым обрушилась Алкидычева распеканция, смеялся громче всех; у него даже животик подергивало от смеха, и в глазах проступили слезы... Когда же все успокоилось и Алкидыч скрылся из вида, он глубоко вздохнул и, смахнувши рукавом рубахи пот с лица, воскликнул:

— Ну, братцы, умаял он меня!.. Вот так умаял...

— Да из-за чего у вас дело-то вышло? — спросил Пармен.

— Дело-то вышло у нас из-за чего? — добродушно переспросил мужичок, а вот из-за

чего оно вышло, дело-то, друг ты мой милый... Вот видишь ты гречишку-то? — Он указал на гречиху, видневшуюся в возе с мякиной, видишь?.. ну вот, друг ты мой сладкий, Алкидыч, возьми эту гречишку-то самую да и найди... Нашел он ее, сладость ты моя, — мужичок легонько вздохнул, — Да и ну меня точить, и ну... Уж он точил, точил... Аж в пот ударило! — Мужичок снисходительно засмеялся и опять смахнул с лица пот.

— Да как же попало зерно-то в мякину? — удивился Пармен.

Мужичок с недоумевающим видом развел руками.

— Как попало-то оно?.. А уж этого-то я тебе, друг ты мой любезный, и не скажу-у!.. Нечего греха таить — не скажу... Признаться, грешу я, голубь ты мой, на баб... Как сыпали они, ироды, мякину, так и гречишки туда как-нибудь шибанули... Ироды бабы!.. Всякой — не дело на уме, а тут-то что, прости ты господи мое согрешение! — Мужичок отплюнулся. Тираду свою, направленную против баб, он проговорил таинственным полусшепотом.

Пармен приказал высыпать из воза гречи-

ху. На это мужичок согласился с превеликим удовольствием и, усердно выгребая гречиху, повел такие речи:

— Чтой-то, я подумаю, подумаю, друг ты мой любезный, — и на какой ляд этих баб господь произвел!.. Только с ими склыка одна... Пра — склыка!.. Где бы мужику и не согрешить, ан, глядь, тут баба-то и подгадила... Сказано — ироды!.. ишь, вот Алкидыч: ведь он беспрременно теперь на меня грешит... А я, вот те Христос, Ерофеич, хоть бы сном-духом!.. Ей богу!

— Уж будет тебе, батя, Христа-то дергать, — угрюмо отозвался малый в китайчатой рубахе, — кабы ты жил по правде, небось бы бабы не помешали... Ишь какой спасённый выискался!

Наш мужичок опешил и как-то растерянно заморгал своими умильными глазками. Но растерянность эта продолжалась недолго: он тотчас же оправился и стремительно накинулся на малого в китайчатой рубахе.

— Сын мне ты ай нет? А?.. Говори, ирод этакий!.. Говори!.. дребезжащим голоском кричал он, подступая к нему. Тот медленно

отступал пред расходившимся стариком и мрачно поглядывал на него исподлобья.

— Уколочу, Михейка!.. Слышишь?.. Уколочу, собачий сын... Я не досмотрю, что ты здоров... Я те в волостной выдеру... А?.. Ты оглох, что ли... оглох?... Говори, аспид!..

— Уйди, батька! — тихо и сдержанно ответил Михей, осторожно отстраняя сердитого мужика. — Уйди от греха... Не срамись лучше!.. Ей-богу, не срамись... Все выложу!

Мы не дождались конца этой семейной сцены и отошли в другую сторону выгона. До меня уж смутно долетели слова Михея: «Отдели, коли не угоден, а покрывать я не согласен»... и злобное шипение старика: «Вот я те отделю в волостной!.. погоди ужо, я те отделю...»

— Они вот все у него такие-то, дети-то, — пояснил мне Пармен, — у него тоже девка есть, Уляшка; так тоже с голой рукой не подступайся!..

— Да разве это отец Ульяны?! — воскликнул я.

— А вы нешто заметили ее? — усмехнулся Пармен. — Как же, как же, отец!..

Около одного тока нас остановил смуглый черноволосый мужик с бельмом на глазу и в щегольском картузе, ухарски надвинутом набекрень.

— Пстой-ка, Ерофеич, — дело есть!

Мы подошли.

— Ну, припас я тебе, брат, кобеля-то!.. и-и кобель!

Он зажмурил глаза и значительно помотал головой.

— О? — обрадовался Пармен.

— Право слово!.. То есть такой, братец ты мой, пес... Такой... Кажись, весь свет произойди, такого пса не найдешь... Настоящий цетер...

— Ну?

— Ей-богу... Как он за утками, братец ты мой, ходок!.. Уж так-то ходок, так ходок... А-ах ты... Просто беда — провалиться.

— Ты когда ж его приведешь-то?

— Да уж приведу, не сумлевайся... А только, брат Пармен, — уговор помни — чтоб два фунта порошку, да дроби! — фамильярно заключил он, похлопывая Пармена по плечу.

— Ну ладно, ладно... Есть из чего толко-

вать!..

— То-то!.. Да уж и мякинки возок ублаго-  
твори, Ерофеич... Пра!.. Я тебе не токма что  
кобеля... — Тут кривой мужик плюнул на ру-  
ки и опять принялся молотить.

Когда мы, направляясь к усадьбе, проходи-  
ли мимо гумна, над плетнем показалось  
некрасивое лицо Ульяниной подруги Химки.

— Придешь, что ль, на вечерушки-то, Пар-  
мен? — тихо спросила она.

Сконфуженный Пармен косо взглянул на  
нее и ничего не ответил.

— Что же вы не отвечаете? — спросил я и  
затем добавил: — А хорошо бы посмотреть,  
какие такие у вас вечерушки...

Он недоверчиво посмотрел мне в лицо, и,  
уверившись, что я не шучу, оживленно про-  
молвил:

— Что ж, это можно... Коли вам любопыт-  
но, мы вечерком туда сходим, — и он провор-  
но побежал к плетню, от которого Химка уже  
успела отойти. — Химка, Химка! — закричал  
он ей вслед, — скажи, что вечером приду.  
Слышишь?.. Приду, мол...

— Ладно, скажу! — отозвалась Химка.

Пармен сразу повеселел и сбросил значительную долю своей степенности. По-видимому, моя готовность идти на вечерушки сильно подкупила его. Он уж не относился ко мне как к какому-нибудь буке, не прикидывался солидным человеком, а говорил и действовал, что называется, начистоту — без всякой чопорности выкладывал коренные свои свойства.

Между этими свойствами нашлось одно и некрасивое: любил он прихвастнуть и похвалиться. Был, что называется у нас, парень бахвал.

— Ведь я, известно, так только спущаю, — говорил он, — а то ведь мне Пантей Антипыч да и дядя Минай — плевать!.. Да мне и черт с ними!.. Я ноне тут, а завтра, уж меня и поминай как звали!..

— Куда же вы денетесь? — любопытствовал я.

— Куда?.. А попрошу батеньку, он меня либо в трактир определит, — у нас ведь трактир есть в Тамлыке, — а если не в трактир, то к Анучкину барину в наездники отпустит... Меня уж туда давишь тянут, — триста целковых

дают... А то Визгуновка!.. Только и свету что в Визгуновке...

Свели мы разговор на женский пол.

— Из девок у нас хорошо... Это нечего сказать — хорошо! — восхищался Пармен, — вот видели Уляшку-то?.. Хороша ведь, а? — любопытствовал он, и затем самодовольно произнес: — Полюбовница моя... Уж и стала она мне в копеечку!.. Ну, да черт с ней, зато и хороша... Хороша ведь, Николай Василич?

— Хороша, — согласился я.

Когда стемнело, мы отправились в село. С нами еще увязался молодой купеческий приказчик из города Коломны, толстый краснорожий краснобай с сладкими ужимочками и кудрявой речью. Он принимал в Визгуновской экономии пшеницу.

Мы шли по саду. Было тихо. Опавшие листья мягко шуршали под нашими ногами. Сквозь голые деревья мигающим блеском светились звезды. Пармен шел вперед. Приказчик частыми шажками семенил около него и все осведомлялся заискивающим голоском: «А что, Пармен Ерофеич, ребята деревенские, примерно, не зададут нам взлупку?.. Ась?.. На-

род ведь необразованный-с!..»

Прошли сад; прошли и выгон за гумном; показалась речка.

— Тсс... — остановил нас Пармен и прислушался. За рекой слабо дрожала песня. — Ишь, дьяволы, у Малашки собралась! — с неудовольствием воскликнул он и, после непродолжительного молчания, обращаясь ко мне, пояснил: — Тётка Уляшкина, солдатка...

Малашкина изба стояла на огородах. Со всех сторон ее окружал густой тальник, а уж за тальником с одной стороны тускло синелась река, с другой темнелись избы села.

Когда мы вошли в избу, девки — их было человек десять, — распевая какую-то бесконечную песню, чинно сидели вокруг стола. Все занимались работой: кто шил, кто вязал варежки или чулки, кто мотал пряжу... На нас они не обратили ни малейшего внимания, и только хозяйка, круглая краснощекая баба лет тридцати, с ласковой усмешкой подошла к нам и предложила место недалеко от стола. Мы уселись. Приказчик, то и дело уснащая речь витиеватыми прибаутками и как-то волнообразно изгибаясь всем корпусом (что,

по мнению всех вообще купеческих приказчиков, составляет несомненную принадлежность обворожительных манер), певучим голоском завел любезные разговоры. Впрочем, опасение насчет «взлупки», могущей впоследствии от «необразованных» деревенских парней, кажется, еще не покидало его. По крайней мере он частенько и с видимой тревогой поглядывал на дверь, а когда она, вскоре по нашем приходе, неожиданно отворилась даже побледнел и подавился каким-то уж чересчур хитрым словцом. Но вошла Химка, и он успокоился, хотя хитрого словца вспомнить уж не мог. Пармен тоже вступал в разговоры.

Не знаю, благодаря ли присутствию хозяйки или по иным причинам, но смею уверить читателя, что во всю ночь, проведенную нами на вечерушках, я не слышал ни одного неприличного слова (хотя и были слова, неупотребляемые в печати, но это уж другое дело) и не заметил чересчур вольного движения. Чинность, правда, скоро исчезла, скоро слышались шутки, зазвенел смех, а после ужина, состоявшего из яичницы, появилось и

вино. Но и вино не придало вечерушкам характер какой-нибудь беспутной оргии.

Девки пили мало и много церемонились: но зато ни Пармен, ни приторно-сладкий приказчик не унывали. Подсобляла им и Маланья. Работу мало-помалу оставляли. Ульяна первая со смехом забросила за печку свою варежку. Она была необыкновенно весела. Правда, отказалась от песен, которые одну за другой орали девки, но зато ее шутки, ее задорное заигрывание с приказчиком и ее рассказы про «дедушку Пантея» так и сверкали уморительным остроумием. Смех ни на минуту не переставал искриться в ее темных, загадочных глазах. Ей не сиделось спокойно: она то щипала сидевшую рядом с ней смиренную Химку, то бросала чем-нибудь в Пармена, с телячьим самодовольствием ловившего каждый ее взгляд, то, будто нечаянно, толкала приказчика... Но горе ему, если он эту шутку примет за серьезное!.. Раз он было попытался подумать так и соответственно с этим принял меры... Надо было видеть, каким гневным румянцем вспыхнуло лицо Ульяны и какой суровой надменностью переполнился ее взгляд,

быстро и презрительно скользнувший по сконфуженной фигурке растерявшегося приказчика...

Но после этого маленького эпизода Ульяна притихла и опять принялась за какое-то вязанье. Лицо ее внезапно сделалось холодным и неподвижным. В глазах уж не сверкал насмешливый огонек. Тонкие губы строго сжались и недовольная морщинка прорезала крутой, упрямый лоб. Немного погодя она и совсем исчезла из избы. Я оглянулся: не было и Пармена.

Девки, как ни в чем не бывало, тянули песню. Одна Химка не пела. Ее некрасивое лицо, почти сплошь усеянное веснушками, было грустно. Глаза глядели с какой-то печальной задумчивостью. Сахар-приказчик все потягивал винцо. Он, видимо, пьянел. Щеки его уподобились свекле. Глазки затянуло маслянистой влагой. Он все старался подтянуть девкам, но голос его, пронзительный и тонкий, выделял какие-то совершенно не идущие к делу рулады. Девки смеялись, и он сам хохотал до слез над своею неумелостью (но хохотал опять-таки особенным галантерейным

манером), впрочем уверяя, что «ежели да ему спеть какой ни на есть романец», то он лицом в грязь не ударит. Девки заинтересовались «романцем» и упросили приказчика спеть его. Приказчик недолго ломался. Он кашлянул и, галантерейно упершись в бока, затянул... Боже, что это было за пение!.. Он пел, или, лучше сказать, визжал, истошным бабьим голосом, выделявая с нечеловеческими усилиями поразительнейшие фиоритуры... «Романец» начинался так:

*Выхожу я на дорогу,  
Предо мной, мы скажем, путь  
блестит  
И пустынный славит бога,  
И с звездами, скажем, говорит...<sup>[1]</sup>*

Дальше уж следовала такая чушь, что даже Маланья слушала, слушала, да и плюнула: «Ведь взбредет же человеку такое на ум!» — досадливо сказала она. Над уморительным напевом девки много смеялись и тотчас же окрестили певца «комарём», о словах же «романца» выразились так, что это де непременно что-нибудь божественное, ну и ничего бы, но скучно. Зато с единодушным хохотом и

громким одобрением встречена была ими песенка, которой, неожиданно для всех, приказчик заключил свой «романец». Пропел он эту песенку бойко и очень недурно, но девичьи сердца были побеждены на этот раз не пением, а сюжетом песни...

*Полюбил меня молоденький по-  
пок,  
Посулил он мне курятинки ку-  
сок...  
Мне курятинки-то хочется,  
А попа любить не хочется...*

Даже Маланья рассмеялась, а она вообще держала себя серьезно.

В избе становилось душно. Я вышел на крылечко. Ночь была темная и холодная. В высоком небе тускло мерцали звезды. В воздухе стояла мертвая тишина. Село спало. Только из Маланьиной избы вырывался шум... Вдруг послышался тихий говор. Я прислушался.

— Ничего ты от меня не дождешься!.. Ты хоть не говори, хоть не приставай ко мне... — гневным полупшепотом говорила Ульяна.

— Что ж ты меня водишь-то?.. За что ж ты

меня тиранишь-то... Аль я тебе на смех дался! — укоризненно и горячо возражал Пармен.

— Кто над тобой смеется! — произнесла Ульяна уже более мягким тоном, никто над тобой не смеется... Ты сам тянешь... Я чем причиной! Говорю сватайся... Коли любишь, чего ж ты!..

— Кабы не любил, так мне наплевать бы, — угрюмо вымолвил Пармен.

— А я тебе сказала: не пойду опричь тебя ни за кого... Чего ж тебе еще!..

— Что ж мне теперь делать! — сокрушительно вздохнул Пармен.

— Что? — опять переходя в гневный тон, воскликнула Ульяна. — Ты вот славы-то небось сумел добиться!.. На эти дела-то тебя хватило!.. По всему селу уж ославили... На улицу стало выйти нельзя... Нет — чтобы язык-то попридержать!..

— Я, ей-богу... — смущенно залепетал Пармен.

— Не говори! — горячо и требовательно перебила его Ульяна. — Уж лучше не говори ты мне... Уж не бреши... не вводи во грех!

— Вот отсохни у меня язык... — попытался было оправдаться Пармен, но она опять не дала ему продолжать:

— Не божись!.. Кто Макарычу мельнику нахвалился?.. Не ты?.. Не ты, бесстыжие твои глаза?.. А тетушке Арине?.. У, так бы я тебя и разорвала, постылого!.. Когда-й-то я тебе любовницей-то приходилась, а?.. Аль забыл, сокол?..

— Лопни у меня глаза!.. — почти плакал Пармен, — чего ж мне пустое говорить... Что я, аль балухманный какой!.. С какой мне стати напраслину-то взводить... — и потом, видя, что Ульяна успокоилась, заискивающим тоном продолжал: — точно, говорил я тетке Арине...

— Ну, ну?.. — стремительно перебила его Ульяна.

— Ну, говорил я ей, что, — тетка Арина, говорю: я на Ковалевой девке жениться хочу... а она — на Уляшке? говорит, — ну, я и сказал, что на Уляшке, мол... Только всей моей и вины...

Наступило молчание.

— Ты что ж, отцу-то не гутарил еще? —

мягко спросила Ульяна.

— Нет еще... Вот погоди — покров придет, скажу... — затем послышался шепот, но я уж не мог его разобрать. Слышал я только звук легкого поцелуя, тяжелый вздох, видимо принадлежащий Пармену, и торопливое восклицание Ульяны: «желанный мой!.. и не говори, и не думай», — после чего ее стройная фигура быстро проскользнула мимо меня в избу. Пармен еще раз вздохнул, вошел на крыльцо, долго и пристально чесал в затылке и, наконец, сердито отплюнувшись, воскликнул: «Ах, нелегкая тебя обдери, дьявола!» Как он меня не заметил, уж не знаю.

Когда я вошел в избу и взглянул на Ульяну, меня поразила перемена, происшедшая в ней. В глазах ее светилась какая-то тихая и покорная унылость. Тоскливая печаль лежала на лице, которое так еще недавно поражало своим суровым и гордым очертанием.

В это время девки только было вознамерились, чуть ли не в десятый раз, затянуть неизбежные «охо-хо-шки» — одну из тех бессмысленных и пошлых песен, которыми возвестилось нашей глуши пришествие «цивилиза-

ции». Химка с неудовольствием прервала их: «Вы бы, девки, лучше какую старинскую», сказала она. «Не сыграешь! — возразили девки, — кто у нас тут старинскую-то сыграет: ты да Уляшка»... — «А тетка-то Маланья?» — произнесла Химка. Девки обступили Маланью: «ну, тетушка, ну, родимая, сыграй!» — приставали они к ней. Одна Ульяна оставалась неподвижна. Стали просить Маланью и мы, гости, спеть «старинскую» песню. Наконец она села около стола, картинно оперлась на руку и необычайно высоким голосом затянула:

*Уж вы, ночки мои, ноченьки,  
Ночи темные, осенние.*

И на мгновение смолкла, точно чего-то ожидая... Ульяна в это время сидела рядом с ней. Она задумчиво перебирала бахрому завески. При первых звуках песни в ней что-то тревожно встрепенулось и дрогнуло... Какая-то горячая бледность охватила ее лицо. Грудь тяжело приподнялась и опустилась. Я видел — в ней что-то загоралось и млело... Но она все сидела поникнув головою и, полузакрыв глаза, все перебирала завеску. В это-то

время Маланья в каком-то ожидании смолкла... Все мы затаили дыхание и тоже ждали. Ульяна медлительно подняла голову, лениво обвела нас каким-то тупым и тяжелым взглядом, криво и болезненно усмехнулась и вдруг... прозвенел какой-то странный, слабый и тоскливый звук. Я вздрогнул и взглянул ей в лицо. С ощущением невыразимой муки она стремительно охватила руками голову и каким-то нервно звенящим, беспрестанно обрывающимся и падающим голосом протянула:

*Эх... надоели... вы мне, ночи!.. надоскучили...*

Другие подхватили, и полилася песня, горькая и унылая, как Русь...

Долго еще мы просидели у Маланьи, и под конец мне ужасно стало скучно. Пармен и приказчик все потягивали водку из толстых зеленоватых стаканчиков. Девки уж совсем перестали пить. Ульяна и Химка тотчас же после песни ушли домой. Пармен откуда-то достал гармонику и самодовольно удивлял своим искусством окончательно «рассолодевшего» комаря-приказчика...

Когда мы, наконец, отправились домой, над землею висел тот болезненный полусвет, который не знаешь к чему отнести, к ночи ли, или уж к утру. Но не успели еще мы пройти село, как восток слегка зарумянился. Было холодно. На траве и на крышах тускло серебрился утренник. Сельские петухи звонко будили свежий и крепкий воздух. Над рекой неподвижною пеленою висел голубой туман. От воды пахло острым запахом мочившейся конопли.

Пармен все приплясывал под гармонику, которую он захватил с собою. Приказчик коснеющим языком лепетал приговорки, с смешным усилием приподнимая отяжелевшие веки свои. Изредка он неопределенно улыбался и, усиливаясь многозначительно мигнуть бровью, восторженно восклицал: «у, девка!» — на что Пармен самодовольно отвечивал: «Что, ай хороша?» Но приказчик только безнадежно махал рукой, и тем разговор кончался. Было однако же заметно, что Пармен и его успел посвятить в свой мнимый секрет насчет Ульяны.

Шли мы медленно, и когда достигли сада,

то заря уж широко заполонила небо, звезды меркли и погасали. Ночной мрак стремительно убегал к западу. Все еще было тихо. Небольшая березовая рощица, составлявшая границу сада, точно дремала в неподвижном воздухе, печально поникнув своими поблекшими ветвями. Опавшие листья, которыми мягко была усыпана земля, покрыты были инеем. Они уж не шуршали под ногою...

Вдруг как бы отблеск пожара озарил нас. Я оглянулся. Из-за горизонта величественно поднималось солнце. Лучи его сверкающими иглами пронизывали воздух. Они еще не достигли долины, в которой раскинулось село, окутанное сизым сумраком, не достигли и реки, но кресты на церкви уж загорелись горячим блеском, та возвышенность, где стояли теперь мы, уже пламенела, озаренная красноватым сиянием, и тени трусливо убегали от нее к темному западу.

Легкий шорох пронесся по деревьям. Доселе неподвижная роща проснулась и задрожала свежую дрожью, насквозь пронизанная солнцем. Подобно мраморной колоннаде засеребрились стройные стволы берез, и горя-

чим золотом засверкала их ярко-желтая листва под молодыми лучами солнца.

Река уж не дымилась. Голубой туман, стоявший над ней, при первых лучах солнца свернулся мягкими клубами, тихо поднялся и растаял в розовом небе. Теперь в берегах неподвижно пламенело растопленное золото.

Тишина все еще не нарушалась. Где-то на селе скрипнули было ворота и жидко заблели овцы, но чрез мгновение все опять смолкло, и мертвая тишина снова воцарилась в воздухе... А солнце заливало землю сверканием.

Я поздно проснулся. Ерофей Васильев еще не приезжал. В конторе, где отведена была мне квартира, никого не было, кроме караульщика Артема. Я пошел к реке. Там, на берегу, как и вчера, сидел с удочкой лысенький и кривой человек, указавший нам контору. Я подошел к нему.

— Бог в помощь!

— Много благодарны вашему здоровью, — поблагодарил меня рыболов. Он сидел без шапки, в каком-то халате неопределенного покроя, подпоясанном грязной веревочкой. Ноги его были босы. На шее, темной как чу-

гун, болталась какая-то оборванная тряпица, из-за которой сквозила голая грудь. Рубашки заметно не было.

Я разговорился с ним. Оказался он бывшим дворовым человеком, прошедшим, по его выражению, все огни, и воды, и медные трубы. Был он, в «свое время», и псарем и буфетчиком, играл в домашнем оркестре на валторне и ездил фореитором; под конец, все по той же чудодейственной «барской воле», определился было в портные, но и там оказался негодным, после того как сшил «барченкову учителю» брюки задом наперед. С тех пор он поступил в инвалиды, то есть получал с неукоснительной аккуратностью «мещину»<sup>(2)</sup>, лежал с утра до вечера на полатях в людской и с многозначительным кряхтением посвящал молодое дворовое поколение в прелесть старинного «житья-бытья». Таким инвалидам пришлось плохо после эмансипации; хватил горя и мой рыболов. Из многообразных познаний его ни валторна, ни звонкий фореиторский кнут, ни классическое «ату, ату его!» уж не подходили к складу новой жизни; не подходило к этому складу даже и портняж-

ное ремесло, годное лишь на то, чтоб испортить брюки.

— Чем же ты живешь? — спросил я его.

— Живу-то? — переспросил он меня, — чем живу-то я? — с недоумением повторил он и, немного погодя, неуверенно произнес: — рыбу ловлю, вот... Ну, починить что... Это я могу, ежели починить, — оживленно добавил он и устремил свой единственный глаз на поплавок.

— Какая же ловля осенью? — заметил я.

— Ловля-то какая? — Он на мгновенье задумался. — Ну, ничего ловится... Вот вчера два караса поймал... Все глядишь... — Он не закончил.

В это время к нам подошел плотный и необычайно солидный мужик, в поддевке из обыкновенного крестьянского сукна и высокой новой шляпе. Он степенно и медлительно раскланялся с нами и спросил рыболова:

— Что, Лупач, не бывал еще Ерофей-то?

— Нет, нет еще, не приезжал, — торопливо ответил Лупач, насаживая на удочку червя.

Солидный мужик, осторожно подобрав полы поддевки, присел около нас.

— Что, Лупач, все ловишь? — снисходительно усмехнулся он.

— Ловлю все, — произнес Лупач.

— Хм... Лучше бы ты мне кафтан зачинил... Намедни поповы собаки расхватили... Ведь как, аспиды, располыхнули-то? — во!..

— Починю ужо...

— Почини, почини — это ты можешь... Что ж, почини, покровительственным тоном произнес мужик, небрежно поковыривая палочкою землю.

Мало-помалу завязался у нас разговор с солидным мужиком. Он все хвалил: и барины, и приказчика, и порядки экономические... «Одно слово простота!» — заключил он свою хвалебную речь. Я поинтересовался: хорошо ли живут мужики. Вопрос, видимо, затруднил его.

— Да как тебе сказать, — произнес он, пристально рассматривая свои громадные сапоги и старательно ощупывая их толстую кожу, только что смазанную дегтем, — нельзя сказать, чтоб хорошо... Нет, нельзя этого сказать!.. Известно, есть дворов пяток... это нечего говорить — есть... Ну, а то — плохо, правду

надо сказать — плохо!

Я удивился, как при такой простоте экономических порядков все-таки плохо живут мужики.

— Это верно, что простота! — подтвердил мужик, — и из земли, и из кормов... И заработки опять... Одно слово — вечно бога молить!

— Не понимаю, почему вы плохо живете? — заметил я, — может, пьянство сильное?

— Нет, зачем пьянство... У нас этого нету... Ну, знамо, нельзя без того, чтоб не выпить лишнего — покров там, масленица, — а чтоб пьянства, нет — пьянства нету...

Мы замолчали.

— А вот видишь, милый ты человек, — окончив осмотр сапогов и слегка вздыхая, заговорил мужик, — как тебя называть-то?

Я сказал.

— Ну так вот, Миколай Василич, — дарёнка[6] у нас... Дарёнка<sup>{3}</sup>, милый человек... С того и живем плохо, что дарёнка... Улестил нас Чечоткин-то тогда... Это нечего таить — улестил... Вот теперь и каемся, да уж поздно... Близок локоток-то, ну — не укусишь его!

Он замолчал и, сняв шляпу, начал внимательно рассматривать ее подкладку.

— Мы — что!.. Мы еще куда ни шло, — заговорил он, когда подкладка в подробности была исследована и шляпа опять надета на голову, — вот горши-то! — Он указал палочкой на Лупача.

Лупач съежился и учащенно заморгал своим глазом.

— Их у нашего Чечоткина никак тридцать семей было, братец ты мой... Так все и разбрелись как тараканы: кто куда!..

— Ну, не говори, Андроныч, — вдруг обиженно залепетал Лупач, — мало ли осталось!.. Евтей Синегачий остался, Пантей-ключник, Алкидыч-конторщик, Ерофей...

— Ну и наберется какой-нибудь десяток, — свысока решил Андроныч, — а то все по миру ходят...

Лупач опять хотел было что-то возразить, но в это время заколебался поплавок и всецело поглотил его внимание. Андроныч посмотрел, посмотрел на его сторбленную, напряженную фигурку, на его ведерце, где одиноко плавал и плескался крошечный пискаришка,

и, поднявшись на ноги, пренебрежительно произнес:

— Эх ты — горюша!

Я воротился в контору.

Ерофея Васильева мне не суждено было дождаться: к вечеру прибыл от него нарочный с письмом следующего содержания:

«Пармешка! Подлец Андрюшка с тарантаса на Крутом Яру меня зашиб. Вели ты, чтоб Евтюшка пуцай ехал бы за лекарем... Пармешка! Минаю скажи — я приказал пшеницу молотить, ну только чтоб смотрел. И чтоб за мужиками Алкидыч глядел бы. Ну, Пантей пуцай пшеницу купцу отпускает, а тебе мой приказ, чтоб ехать сюда в Крутоярье. Отец Ерофей Постромкин».

Три или четыре года спустя, в знойную июньскую пору, случилось мне, по дороге в Хреновое[7], остановиться в селе N \*\*\*, покормить лошадей. Не успел еще дворник растворить ворота, а я — войти на крылечко, на котором восседала жирная дворничиха в сообществе какого-то рыжебородого мужчины, беспечно шелушившего подсолнухи, как вдруг этот самый рыжебородый мужчина вос-

кликнул:

— Э, да никак старые знакомые!.. Так и есть!.. Аль не признаете? Пармен-то, приказчиков сын...

Я взгляделся и действительно узнал Пармена, но уж возмужавшего и отпустившего легонькое брюшко. Поздоровались мы с ним.

— Как же, как же! — радостно восклицал он, — лошадку еще никак приезжали купить... Как же!

— Вы зачем же здесь? — спросил я Пармена, в то время как дворничиха, тяжело отдуваясь и неуклюже поворачиваясь своим громадным телом, пододвигала мне скамейку.

— А питейное заведение здесь содержим, — самодовольно объяснил мне Пармен, — как же! Торгуем-с!..

— Да разве ваш отец уж не живет в Визгуновке?

— Это у Чечоткина-с?.. Нету-с, не живет... Они уж богу душу отдали...

— Кто?

— Да батенька... Ведь вы насчет батеньки изволите спрашивать?

В манерах Пармена, так же, как и в языке,

замечалась теперь какая-то утонченная галантерейность, та самая галантерейность, которой некогда, на вечерушках, отличался купеческий приказчик из города Коломны. Откуда уж набрался этой галантерейности грубоватый Пармен — осталось для меня загадкою.

— Ну, и Визгуновка теперь уж не Чечоткина, — заявил он мне.

— Чья же? — удивился я.

— А Селифонт Акимыча Мордолупова, купца... К нему поступила-с...

— Продали, значит?

— Вона-с!.. Старик-то Чечоткин ведь помер, ну, а молодые и продали...

— На что же они продали?

— Усмотрели, значит, что доходов им мало-с... Мы ежели, говорят, капиталом будем владать, так капитал и то полезительней для нас будет, нежели Визгуновка... Так и продали-с...

— Ну, у купца-то, у Мордолупова-то этого, разве больше даст Визгуновка?

— Помилуйте-с, можно ли равнять!.. Купец, он — прожженный!.. Он первым долгом

теперь лошадей перевел, из конюшен винокурню выстроил, около сада роща была березовая — из ней свинятники нарубил, дом на маслобойку оборотил, а сам срубил себе хатку из липок, да и живет в ней... Помилуйте-с, разве можно купца равнять!..

Я согласился, что точно, — равнять его с барином нельзя.

— Теперь в саду беседка стояла каменная, — оживленно и с видимым одобрением продолжал Пармен, — ну, у барина она так бы, глядишь, и простояла до скончания веков... А у купца нет-с, не простоят!.. Он ее взял, беседку-то, да на кабак и оборотил... Какой ведь кабачница-то вышел! — любо поглядеть... Да еще что! чудак он такой, Селифон-то Акимыч, — статуй в беседке-то стоял, так он его возьми, статуя-то этого, да в кабак и поставь, ей-бо-гу... Так и стоит теперь около стойки! — Пармен захохотал и, насмеявшись досыта, с пренебрежением в голосе добавил: — А то барин!.. Где барину...

Я спросил, лучше ли живется народу с тех пор, как Мордолупов водворился в Визгуновке.

— Ну уж, я вам доложу, скрутил он их! — восторженно ответил Пармен. У них ведь да-рёнка, у визгу-новских-то... Землишки-то, значит, малость, кормов и не спрашивай: — всё к нему да к нему... Так не поверите — куда вам барские, в сто раз хуже!.. Одними штрафами загонял-с... Корова зашла штраф, утка в речку заплыла— штраф, бабы по выгону прошли — штраф, траву потоптали... все штраф!.. Вы не поверите, захватит ежели — мужик лошадь поит в речке — и тут штраф: карасей, говорит, моих не пужай, потому рыба она квелая, со страху колеет...

Пармен так и прыснул со смеху.

— Ну и мужичишни избаловались, — пре-ебрежительно произнес он после некоторого молчания, — пьянство такое открылось, что боже упаси!.. Особливо как винокурню пустили... И не выходят из кабака!

— Поневоле сопьешься! — протянула все время молчавшая дворничиха, вынимая из кармана новую горсть подсолнухов и бурно испуская тяжелый вздох, от которого швы ее зеленого платья с желтыми крапинами подо-зрительно затрещали.

Пармен свысока окинул ее презрительным взглядом, но ответить ничего не ответил.

— Да! — сожалительно крикнув, обратился он ко мне, — счастье Селифонт Акимычу, счастье... Ведь даровые ему работники-то... чисто даровые... А село здоровое, — они почитай что одни и посев ему уберут и на винокурне управятся... Только точно, — продолжал он после непродолжительного молчания, — уж больно он их нудит... Просто вздохнуть не дает... Гляди, лет через десять и работать будет некому, — ей-богу-с!.. Все испьянствуются да разбегутся кто куда... Ведь прошлую весну ударились было в Томскую, — семей двадцать двинулись... Мало тут с ними было хлопот-то Селифонт Акимычу?.. Тоже много было хлопот... Глядишь, кабы не становой, Капитон Орехыч, так бы и уперли... Народ оглашенный! — и, подумав немного, добавил: — Это точно, что он уж их больно скрутил!.. Все бы, нет-нет, да и вздох дать...

— Дворовые-то и теперь уж расползлись куда глаза глядят, — со смехом заговорил он, не без чувства собственного достоинства заглянув перед этим в часы. — Вы, может,

помните Пантея Антипыча?.. Так старичок, ключником он ходил, — да еще Алкидыч, тоже старичок, — так уж они на селе в караулку определились... Значит, в церковные сторожа... Да это еще что!.. Там Лупач есть, тоже дворовый человек, так он даже удавился... Так, взял на кушаке да и удавился... А удавился, я вам скажу, с чего, так это просто удивление: рыбу ловить ему не велели в речке... Мордолупов-то говорит ему: «Ты не смей, говорит, Лупач, ловить рыбу», — и прогнал, ну, а он возьми да и удавись... Вот они какие сахара! — неизвестно для чего добавил Пармен и победоносно взглянул на дворничиху, которая с каким-то остервенелым упрямством истребляла подсолнухи.

В это время вышел на крыльцо дворник, худенький и зеленый человек, с большим ястребиным носом и серьгой в ухе, и объявил мне, что готов самовар. Пармен засуетился.

— Николай Василич! вы уж ко мне... По старой памяти... Пожалуйста!.. Посмотрите наше хозяйство... Уж сделайте милость!

— Да, может, далеко?

— Помилуйте-с, рукой подать... Вот завер-

нем в переулочек-то, оно тут и есть, наше заведение... Уж пожалуйста!

Я согласился.

Когда мы вошли в «заведение», в первой комнате, загроможденной многочисленными полками разноцветных ратафий и наливок, сидела молодая, дородная женщина, с красным, оплывшим от сна лицом и вздернутым носом, более похожим на пуговицу, чем на нос. Она лениво поглядывала в окно и щелкала подсолнухи.

— Акуля! Велика самоварчик наставить, — сказал ей Пармен и, указывая мне на дверь, ведущую в другую половину избы, предупредительно произнес: Пожалуйста-с!

Акуля тяжело приподнялась, взглянула на нас сонным и вялым взглядом и, слегка поклонившись мне, утиным шагом поплелась из избы.

— Жена, — коротко объяснил мне Пармен, самодовольно улыбаясь.

Мы вошли в другую комнату, уж претендовавшую на некоторый комфорт. По крайней мере кисейные занавески и герань на окнах, комод и туалет, покрытые вязаными салфет-

ками, а главное — огромная кровать с высоко взбитою периною, целой горой подушек и одеялом, составленным из разноцветных ситцевых клочков, ясно намекали на эту претензию.

— Вот и наше помещение-с! — объявил Пармен, усаживая меня на диван, в котором, по всей вероятности, вместо пружин были заложены кирпичи. Я покорился горькой необходимости и, проклиная злодея-обойщика, осторожно уселся, оглядывая «помещение».

— Пока бог грехам терпит — живем-с, — скромно вымолвил Пармен.

— Ну, как вы теперь?

— Вот торгуем-с... После батеньки, царство ему небесное, трактирчик остался, ну, трактирчик мы, признаться, продали, потому не стоит овчинка выделки...

— Вы еще при отце женились? — перебил я историю нестоящей овчинки.

— Да как вам сказать... Сватались мы, точно, что еще при батеньке... Ну, уж а женились после... Значит, батенька уж были померши...

В это время в соседнюю комнату, собственно и называющуюся кабаком, тяжелой посту-

пью ввалилась Акулина в сопровождении какого-то оборванного мужичка с темным лицом, излопавшимся от жары, и с волосами, сбившимися как войлок.

— Уж сделай милость, Тимофевна! — умолял он целовальничиху, судорожно теребя в руках лохматый треух и стараясь придать своему невеселому лицу умильное выражение.

— Я тебе сказала: хоть не говори! — лениво ответила целовальничиха, опять усаживаясь около окна и принимаясь за подсолнухи.

— Хоть осьмуху! — не унимался мужик, — уважь, сделай милость... Теперь без осьмухи и не показывайся туда... Сделай милость, отпусти.

Акулина молчала; молчали и мы. На лице у Пармена блуждала довольная усмешка. Он внимательно наклонил ухо к стороне перегородки, как будто соловья слушал.

— Заставь за себя бога молить! — с истомой в голосе продолжал мужик, понемногу переходя из умильного тона в тоскливый. — Тимофевна! Аль мы какие... Уж авось осьмушку-то... Ах ты господи! — мужичок

ударил себя по бедрам, — авось как ни то отслужим... Вот те Христос, отслужим!

Акулина молчала, поплеывая подсолнушки. Мужичок дышал часто и тяжело. Изредка он с ощущением боли переступал ногами, как будто стоял не на холодном кирпичном полу, а на горячей плите. Тупой взгляд его как-то беспомощно озирает ряды разноцветных бутылок, ярко отражавшихся на солнце. Пот проступал на его висках и грязными струйками полз по лицу. Где-то на стекле однообразно звенела муха.

— Тимофевна! — опять воскликнул мужичок, с тоскою устремляя взор на неподвижную целовальничиху, — заставь бога молить... Сделл... милость... Осьмуху!.. Вызволи ты меня... Во как: хоть ложись да помирай! — Он указал рукой на горло.

— Не воровали бы, ан и ничего бы не было! — хладнокровно отрезала Акулина, загребая где-то под стойкой горсть подсолнухов.

— Кабы воровали-то, Тимофевна, — горячо заторопился мужичок, видимо обрадованный тем, что наконец прекратилось угнетавшее его молчание. — Кабы воровали!.. А то у пар-

нишки оглобля-то сломайся, он возьми да и выруби жердинку, — известно, малолеток... Ну, они его и сцарапали, караульщики-то... Теперь как ни бейся, а без осьмухи нечего к ним и глаз казать!..

— А он не руби в чужом лесу! — равнодушно возразила целовальничиха и тут же закричала в окно на кур: — Кышь, кышь проклятые, всю левкой потоптали!..

Мужичок понурил голову и молчал.

— У тебя девка-то дома? — беспечно спросила Акулина.

— Дома, дома, матушка, — слегка удивившись, ответил мужик.

— Ты пришли-ка ее, пусть она у меня замест кухарки поживет недели две...

— Как же это?.. — с недоумением возразил было мужик, но целовальничиха не дала ему продолжать.

— Она пуцай у меня неделки две поживет, ну, а осмуху я уж тебе отпущу...

Пармен толкнул меня локтем.

— Ну, так уж и быть, наливай, видно! — после легкого раздумья сказал мужичок, почесывая в затылке.

— Только смотри, Федулай, деньги чтоб беспременно к Успленью, уж это как хочешь!.. — добавила Акулина, направляясь к стойке.

— О господи? Аль уж я... аль уж мы, прости господи, какие!.. восклицал Федулай, стремительно подхватывая кувшин, до сих пор стоявший около дверей.

Пармен восхищенно развел руками и, посмеиваясь, взглянул на меня.

— Орел-баба! — самодовольно произнес он, — с мужиками она — лучше и не надо!.. Любого купца за пояс заткнет.

— Откуда вы ее взяли? — осведомился я.

— С Липецка... Там у мещанина одного — кожами он торгует, шибай, значит... Ну, и не то что какую голую взял, — с достоинством добавил Пармен, — триста целковых деньгами, салоп лисий, платок дредановый, три платья шелковых, перина... Все как есть! — справили хорошо.

— А ведь я, признаться, тогда думал, что вы на Ульяне женитесь! заметил я.

— На какой это-с?

— А помните в Визгуновке-то?

Пармен обиженно усмехнулся.

— Помилуйте-с! Как вы об нас понимаете!.. Разве это возможно-с, чтоб на простой девке жениться... Что это вы говорите такое... Это даже довольно смешно-с... Нешто я полоумный какой... — Он даже засмеялся над наивностью моего предположения.

— Ну, что с нею? Где она теперь? — спросил я.

— Да она померла... Еще в прошлом году померла... Хе-хе-хе! Занятная девка была-с!

— Померла! — воскликнул я.

В этой смерти мне уж почудилась драма во вкусе покойной памяти романтизма, с эффектными сценами ревности, проклятий и т. п., но — увы! — и здесь оказалась вековая комедия. На вопрос мой, отчего умерла Ульяна, Пармен равнодушно ответил:

— А ей-богу, не могу вам сказать... Говорили тогда, что как, значит, бабы-знахарки трясли ее, ну и затрясли... Это ребенка вытрясают так, ежели роды трудные, — пояснил он мне, направляясь к двери.

— Да разве она была замужем?

— Как же!.. Муж-то у ней еще кочегаром

теперь у Селифонт Акимыча, проговорил он на ходу, — так, плевый мужичишка... Что, Акуля, самоварчик-то наставили? — обратился он к жене.

— Закипает небось, — апатично ответила Акуля, и опять загребла полную руку подсолнухов.

Через час я выехал из N \*\*\*. Лошади еле плелись под палящими лучами солнца; горячая пыль клубами вилась по дороге и садилась на лицо; Михайло, распустив вожжи, уныло тянул бесконечную песню. «Ивушка, ивушка, зеленая моя... Что же ты, ивушка, не зелена стоишь?» — любопытствовала песня, «или те, ивушку, солнышком печет? — солнышком печет, частым дождичком сечет?» — предполагала она, и, не дождавшись удовлетворительного ответа с каким-то тоскливым ухарством оповещала знойную степь о том, как коварные бояре «срубили ивушку под самым корешок», как «стали они ивушку потесывати»...

А предо мною печально носился образ Ульяны.

# Примечания

Навес. (Прим. автора.)

[^^^]

Род брезента. (*Прим. автора.*)

[^^^]

Играет. (Прим. автора.)

[^^^]

# 4

Часть риги, в которой ходят лошади, приводящие в движение молотилку. *(Прим. автора.)*

[^^^]

# 5

Бестолковый, взбалмошный, вздорный. Кажется — местное. (*Прим. автора.*)

[^^^]

# 6

Даровой надел. *(Прим. автора.)*

[^^^]

Село в Бобровском уезде с известным конским заводом. *(Прим. автора.)*

[^^^]

# Комментарии

*«Выхожу я на дорогу,  
Предо мной, мы скажем, путь блестит...»*  
и т. д.

— Основой этого «романца», исполняемого приказчиком, является искаженный текст стихотворения М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

[^^^]

«Мещина» — месячина.

[^^^]

*Дарёнка* — дарственный надел, который народ прозвал «сиротским» и «кошачьим». По согласованию с крестьянами помещик, на основании одной из статей Положения 19 февраля 1861 года о выходе крестьян из крепостной зависимости, мог «подарить» им четвертую часть указного земельного надела (почему дарственный надел еще называли четвертным), удержав за собой три четверти. Надел этот был обычно меньше десятины, так что «дарёнка» вела к окончательному обезземливанию крестьян и к кабальной их зависимости от помещика.

[^^^]